

Наш переезд выпал на самую жаркую неделю лета. Даже под дырявым брезентовым тентом полуторки, обдаваемые встречным потоком воздуха, мы изнывали от бесконечно длинной дороги и, не умея винить родителей, затеявших очередной побег в лучшие места, проклинали саму природу. К тому же, небогатый скарб наш всё время перемещался в кузове на колдобинах разбитой грунтовой дороги, и мы были вынуждены совершать гимнастические чудеса, чтобы уберечь руки и ноги.

Село называлось Колбышево. Ни один дорожный указатель не сообщал об этом, и немудрено, ибо дорожных указателей здесь не было. Семья узнала о месте нашего дальнейшего проживания из сумбурных рассказов отца, обещавшего, что уж там-то мы, наконец, заживём по-человечески. Это было обычное сибирское село, каких немало. Но в то же время не совсем обычное. Колбышево славилось даже за пределами района своим уникальным месторождением глины и наличием собственного кирпичного завода. Именно на этом заводе, по расчётам отца, он сможет, наконец, заработать на свой домишко и даже купить матери, как и обещал, пуховую козу для вязки воспетых Ольгой Воронец оренбургских платков. Вот тогда и заживём...

Колбышево. Колбышево... В начале пути мы с Тонькой затеяли было привычную игру в слова, но тряска нас быстро умотала, и лишь теперь, когда вещи в кузове обрели неустойчивое равновесие, а мы сошли на землю походкой советских космонавтов, забывших о притяжении, когда отец побрёл в сторону бревенчатой конторы с хромоногим председателем Хатисом... Лишь теперь, дав выход подростковой энергии, обежав окрестности конторы и удовлетворившись увиденным, мы снова вспомнили о названии села и вернулись к спору о его происхождении. Тонька выдвинула гипотезу о старинном рецепте по приготовлению колбасы – рецепте, который хранит... ну, хотя бы этот странный председатель... Все, мол,

знают о существовании рецепта, но что это за колбаса и с чем её едят – местная тайна.

– Ну вот ведь, помнишь, вересковый мёд, например!.. – выпучив глаза, абсолютно серьёзно вещала мне Тонька. – А у них тут – колбаса...

Тонька быстро заводилась и начинала верить в свои же выдумки. Но моя железная логика всегда была беспощадным противником её девичьих грёз.

– Да нет... – угрюмо констатировал я, ковыряя тряпичным кедом культурный слой колбышевской обочины. – Откуда у них тут колбаса... Из чего они её тут делают по секретному рецепту? Может, из глины?

Тонька дико захохотала, чем вызвала нервные пассы матери, так и не сошедшей с ковчега-полуторки на твердь, и в ожидании решения квартирного вопроса позволившей себе лишь несколько приоткрыть дверь и опереться правой ногой на подножку. Но я ещё не изложил собственную версию.

– Ты ничего не понимаешь, Тонька... – скучно размышлял я вслух, сощурившись на заходящее оранжевое солнце. – Колбышево произошло, скорее, от слова колба...

Пытаясь соответствовать попутному образу вездесущего академика Капицы, всегда расставляющего точки над "i", я иронически сощурился и продолжил:

– Да! Именно в колбе, судя по всему, замешивал свой первый кирпич хранитель тайны алхимик Хатис... Хотя я лично склоняюсь к тому, что колбы здесь и сегодня днём с огнём не найдешь, и поэтому – ЧТО? – поэтому название села произошло от слова ко-ло-бок! ...Ну, глину, стало быть, скатывали руками в колобки... А потом уже научились делать кирпичи...

Я почувствовал, что Тонька больше не слушает меня. Её гогот внезапно прервался, и я заканчивал изложение своей гипотезы уже в полной тишине. В странной тишине. Кажется, остановилось даже течение воздуха.

Я посмотрел на Тоньку, замершую с открытым ртом, потом перевёл взгляд на контору и увидел отца с председателем. Они тоже как-то странно застыли на полпути к машине – Хатис так и не перенёс вес тела на свой протез и потому стоял неестественно,

как смена почётного караула Мавзолея на закинувшей киноплёнке. И все они смотрели куда-то в другой конец улицы.

Я повернулся и тоже остолбенел. К нам приближался человек. Станный и страшный почему-то. Лишь несколько мгновений спустя я понял, что именно меня в нём испугало. Он шёл не по-человечески – размеренно, как шагающий экскаватор. Словно знал, что впереди очень долгий путь и одновременно пытался вспомнить – не забыл ли он что-то очень важное там, позади. Голова – вобрана в плечи и по-бычьему наклонена вперед. Ноги – босые, что само по себе не удивительно в деревне, но в данном случае это почему-то тоже пугало. И, наконец, человек нёс топор, держа правой рукой за конец топорница, а тускло поблёскивающий топорный язык зацепив за плечо. Он надвигался, как грозовая туча. И, как туча, наваливаясь, вытесняет воздух, возвещая о своём приближении ветром, так он гнал перед собой тишину. А за человеком потоком остывающей лавы, чёрным страшным цунами, заполнив всю улицу, в предсмертном призрачном свете, так же беззвучно шло стадо. Впереди стада, с небольшим отрывом, переливаясь мускулами под блестящей чёрной кожей, вышагивал окольцованный бык. Когда его подпирала сзади, он, потупясь, принимал на себя тычки и толчки и чуть ли не останавливался совсем, сдерживая стадо, но не пытался обогнать странного человека. Вернее, не смел...

Из столбняка меня вывел отец, похлопав по плечу.

– Валерка, Тонька, лезьте в кузов, пора на ночлег устраиваться...

На этот раз нас не пришлось долго уговаривать. Но шофёр куда-то запропастился. Отец вынул беломорину, но так и не прикурил, и мы снова, как сговорившись, молча устали на дороге. Человек приближался.

– Гена, ну чего ты! Сходи поищи шофёра... – начала мать своим самым сварливым голосом, но отец не отреагировал.

Человек поравнялся с машиной и, не нарушая ритма, стал удаляться. Он даже не посмотрел в нашу сторону. Наши же взгляды были устремлены вслед незнакомцу до тех пор, пока он не свернул в невидимый нам переулок. И тут же загустевшая тишина взорвалась рёвом коровьих глоток и визгливыми кликами.

– Чалуха, дамо-о-ой! Иди, иди, родимая...

– Катя, прибери свою нетель, она всё время норовит ко мне в ограду...

– Коль, ну и?.. Мою-то бык покрыл?

– Да покрыл, покрыл... Не вишь, чё ль, как ж... крутит... Гы-гы-гы...

– А это кто? На побывку али как? Корова есть?

– Нету.

– Ну ничего, обзаведётесь, да, Ньюра?..

В суете и гаме, царящих вокруг, мне вдруг ясно привиделась аккуратно застёгнутая на все пуговицы чёрная рубашка незнакомца, и по спине как будто протянуло сквозняком.

Отец уже нервничал и беззвучно материл запропастившегося куда-то шофёра. Мать не выдержала и сошла, наконец, на землю, тут же вляпавшись в коровью лепёшку туфлей.

– Ну вот! – сокрушалась мать. – Чего же ты Хатиса Хакимовича не спросил, где шофёр живёт?!

– Да исчез Хатис... Я даже про электричество не успел спросить – он убежал, как будто и не хромым вовсе...

– Ну а потом, – не успокаивалась мать. – Ведь мог же ещё когда спросить того дровосека... они тут все друг дружку знают!..

– Дура, – сказал отец.

## II

С электричеством, как и предполагалось, вышла накладка. Хатис исчез, да и время было уже позднее, и потому мы стали наскоро обустраиваться на новом месте при свете керосиновой лампы, выпрошенной у шофёра. Новое место представляло собой бревенчатую избу размером в одну большую комнату, половину которой занимала огромная русская печь. Был ещё цинковый умывальник, зачем-то грубо покрытый голубой масляной краской. В одном углу стояла старинная железная кровать с блестящими шарами и провисшей до пола сеткой. Были ещё пара подозрительных матрасов, пахнувших клопами и огуречным парником. Всё оставшееся пространство заняла бесформенная куча нашего скарба, сложенного, как пришлось, в темноте и спешке.

Мы с Тонькой устроили родителям нудячую забастовку и добились-таки своего, после детальной инструкции матери о порядке ночного посещения туалета и ненавязчивого повествования отца о падении некой "девушки Фроси" с печи в кадушку с квасом, где она и напилась напоследок, мы очутились в уютной нише у самого потолка, в заветной берлоге, где нашлась старая овчина и "два сапога – пара" – огромные охотничьи бродни, которые мы тут же использовали в

качестве прослойки между подушками и неудобным кирпичным бордюром. Наши бедные родители устроились на скрипучей кровати.

Несмотря на усталость от переезда, нам не спалось – ещё не отпустили последние впечатления. Но сегодня мы не шептались и не делились тайнами – просто лежали и глядели в потолочное небо. И молчали.

– Ты о нём думаешь?

– А ты?..

– И я о нём. Страшно интересно...

И опять молчали. Но я знал, что Тонька сейчас лежит и придумывает, куда пошёл странный незнакомец.

– Гена... – когда мать пыталась говорить шёпотом, голос у неё искажался до неузнаваемости, по-мужски грубел. – А кто ж это тогда такой? Чего он тут расхаживает?

– ...Да местный дурак. Но он не деревенский. У него здесь отец жил...

Шёпот отца порой становился почти неслышным, только пыхала беломорина, и потому большую часть разговора мы с Тонькой не уловили.

– Он лёгчик сам. Испытатель... Майором был. А отец у него плотник деревенский. Топорных дел мастер. Хатис говорит – мебель на заказ делал... Без единого гвоздя. Ну... этот отправил жену с дочкой в Сочи, а сам к отцу приехал, проведать. Напарились в баньке, выпили – отец и отбросил коньки. Старый был уже мужик, сердце слабое. Один топор от него и остался... Этот вызывает своих из Сочи... Они летят – и самолёт падает. Мокрого места не осталось. Вот тут он и свихнулся...

Дальше наступила пауза. Невыносимо долгая. Спиной я чувствовал, как Тонька трясётся мелкой дрожью, но не мог даже повернуться к ней – боялся спугнуть продолжение рассказа.

– Прямо так все и насмерть?! – вдруг в полный голос, всхлипывая, спросила мать.

– Нет, они только наполовину умерли... – нервно съязвил отец и опять запыхала беломорина. – ...приезжали к нему из части его летуны эти, поддержку оказать... Он перед ними ворота запер и неделю из дома не выходил. Все думали, может, руки на себя наложил – но он к окну подойдёт, посмотрит наружу – и опять нету его. А лезть никто не хотел к человеку в такой момент.

– Ну!.. А дальше-то что?

– Что-что... Ты видела вон сегодня – что... В один прекрасный день он вышел вот так вот из дома с топором отцовским, председатель с отцом его не в ладах был. Витька-шофёр говорит – жизни ему не давал. Ну, Хатис и вызвал милицию, психушку... Те

его скрутили, в район повезли. Стали искать родственников – никого нет, позвонили в часть, приехал командир их лёгного отряда, стал хлопотать. Короче, выпустили они его из психушки, сказали, что он вообще-то не буйный и не сумасшедший как бы, просто у него там какое-то торможение на почве потрясения. Он как ребёнок сделался: плачет, просит – отдайте топор отцов. Кто ж ему отдаст. Тогда этот военный и подсутился, так, мол, и так – последнее у человека отымаете, не звери же... Сами же говорите – не сумасшедший он. Короче, забрал он топор, а этого сюда привезли опять. Сказали председателю, будет буянить – вызывай. А он всё ревел. А потом приехал этот... как его... ну, командир, и пришёл к воротам, стал кричать – Ваня... Ваней его зовут... Иванушка-дурачок, вашу мать... Ваня, кричит, выходи, я тебе топор привёз...

– Ну, ну!..

– Ну... тот вышел, а народ собрался посмотреть, что будет. Все ж боятся с буйным рядом жить. Дети у всех... А он вышел, стал у ворот и не подходит топор брать, озирается на народ, как зверь какой загнанный. Думает, наверное, опять увезут к психам... Но на топор всё равно вышел...

– Гена, ну не тяни ты душу! Чего я тебя всё время должна подгонять... И что?!

– ...Тихо, детей разбудишь... Ничего... Тот, командир который, снял фуражку, встал на колени и говорит, Ваня, мол, прости меня, Христа ради... Никто так ничего и не понял, за что он прощения просил... Может, было у них чего... А Ваня наш подошёл так осторожно, топор, значит, схватил и ушёл в дом. Народ постоял, постоял – видит, ничего не будет, ну и стали расходиться. А командир его, наверное, ещё с полчаса там стоял на коленях. Но Ваня так и не вышел. Он и уехал. А от этого Вани с той поры никто ни одного слова не слышал. Сначала боялись, что он всё время дома сидит и топор свой точит – мужики подсмотрели. Дали пенсию ему по инвалидности, ну и за выслугу... придёт в сельпо, купит шесть буханок хлеба и опять домой... Иногда, правда, в лес ходит. А с топором этим даже спит.

А потом мужики ему стали топоры на заточку приносить. Витька, ну шофёр этот, первым принёс, поставил у ворот и бутылку с закуской рядом. Тот топор забрал, закуску, а бутылку не взял: непьющий он был – лёгчик... Так и не начал, значит. Ну а потом, как у кого топор изнашивается, все к нему и несут. И еды, конечно. А он топоры в чурку у ворот навтыкает – не топор получается, а бритва. Отец, наверное, научил, покойничек...

Я уже давно дремал и рассказ отца воспринимал не слухом, а как бы видел всё происходящее своими глазами. Тонька затихла раньше, поревела в подушку и затихла. А я витал над крышей Ваниного дома, и мне было совсем не страшно, я опускался в холодную трубу и смотрел сквозь арку просторной русской печи на странного человека в чёрной рубашке, чья рука такими же размеренными, как его походка, движениями поправляла лезвие топора. И этот топор странно сиял в темноте его пустого дома.

– Гена, Ген... а где он живёт? – спросили снаружи.

– Кто...

– Ну, Ваня же этот?..

– А... Не знаю, я забыл у Витьки спросить...

Я уже проваливался в тёплую тёмную пропасть, пахнущую овчиной и осиновыми дровами, и растворялся в ней под мерные скрипы старинной кровати.

### III

Все последующие дни были наполнены радостью странствий по окрестностям села. Где нас только с Тонькою не носило... Мы, превратившись в гордых индейцев, отстаивали свою резервацию в огромном глинистом каньоне на западном краю форта Колбышево. Мы проложили секретные ходы в двухметровом конопляно-полынном бурьяне, облежавшем знаменитые гари, распростёршиеся в местах старых поселений. Мы нашли полуобвалившийся погреб и, спустившись в него, наслаждались осознанием того, что если не сумеем подняться наверх, то нас вовеки не найдут и не спасут от голодной смерти в тёмном холодном зиндане зловредного султана. Неподдалёку от старого парника на огороде нашего дома обнаружилось богатое месторождение крепких красных в желтоватую полосочку червей, которых Тонька тут же окрестила тигровыми. Их обилие обещало нам хорошую рыбалку в местной речке-канаве Нюхаловке, которая просто кишела чурагайками и чебаками. А если добраться до места её слияния со старицей... Вот там-то, конечно, и ждёт рыбаков заветная огромная рыба – жирный меднокольчужный язь. В самом же старом парнике можно было наковырять бледных толстых лежней, которых гурман язь уж точно не пропустит.

Появилось также несколько новых знакомых. Большинство из них были соседями-сверстники. Но нас с Тонькой не прельщали

их всегдашные вылазки с целью разорить сорочье гнездо или залить водой нору хорька. Нам было интересно перевоплощаться в любимых литературных героев, придумывать продолжение их приключениям или складывать свои никем ещё не прожитые истории. Часами могли мы просиживать где-нибудь на обрыве над тихой чёрной заводью, наблюдать тени рыб, скользящие в прибрежных водорослях, и вслух мечтать о самых несбыточных вещах.

Среди новостей, разнообразивших наши будни, была и одна не совсем приятная. На следующее утро после приезда мы с Тонькой, наспех проглотив свою порцию "завтрака туриста", побежали исследовать дом снаружи и, продравшись в заросший малиной палисадник, обнаружили слева по соседству высокий статный старой рубки дом-пятистенок с почерневшей от времени лиственничной завалинкой и резными тесовыми воротами. Но не причудливая вязь деревянными петухами по карнизу ворот привлекла наше внимание. Не лебеда, нагло стоящая в полный рост, как свидетельство запустения. Не полуприкрытые линиялые ставни с коваными ржавыми петлями.

Перед домом, в центре вытопанной в зарослях лебеда полянки, стояла суковатая берёзовая чурка с воткнутыми в неё пятью топорами.

### IV

Нет ничего тягостней для детского сердца, чем ссоры родителей. Особенно, если эти ссоры не ограничиваются многозначительным молчанием, а сопровождаются мизансценами. Бесконечно разыгрываются варианты финала пьесы – один бездарнее другого. И всё из-за какой-то чепухи.

Ну, не удостоверялся отец, что будущее место проживания будет полностью удовлетворять нуждам семьи (имеется в виду мать)... Ну, не знает он себе цены и не умеет поэтому требовать у начальства. Ну, устроил его Хатис на кирпичку не бригадиром, а обычным сменным истопником с соответствующей оплатой... И что? Неужели жизнь стала мрачнее и безрадостнее? Неужели поблёкли буйные краски лета и земляника из Евгашинских рощ потеряла вкус? Конечно же, нет. Жизнь свежа и прекрасна, и не стоит омрачать её бесконечными репетициями разводов. Тем более из-за соседства с обычным деревенским сумасшедшим.

Я, будучи человеком негибимой логики, давно уже просчитал вероятность

исхода родительских ссор и потому лишь старался покинуть помещение на это время, чтобы не вдыхать отравленный воздух. Тонька же не усваивала жизненный опыт и каждую новую баталию родителей воспринимала всерьёз – на всю катушку. Она ревела от жалости к матери и отцу, да и к себе самой. Как это сладко – жалеть себя самого... Но Тонька и тут не знала меры, и потому её ногти были всегда обглоданы до мяса.

Но, несмотря на слезливость и ранимость, на кажущуюся хрупкость, Тонька всегда была способна на сильный поступок. Нужно только знать, как её подначить. Однажды, например, она ночью пошла на старое Колбышевское кладбище, чтобы на спор принести оставленную в самом центре на покосившемся кованом польском кресте фуражку Васи-Баляси – местного заводилы. Тоньке было просто необходимо доказать всему миру, что она не обычная девчонка с бантиками, а человек, который звучит гордо. Фуражку она принесла, хотя сама лицом напоминала восставшего призрака, правда, уже у ворот кладбища её напугали спрятавшиеся за могильным бугром мальчишки, и она всё-таки разревелась. Но ведь не от страха же, а от обиды...

И вот, пока наши родители соревновались в красноречии, я, желая отвлечь Тоньку от грызения остатков ногтей, предложил установить слежку за сумрачным соседом.

– Посмотри сама, Тонька! – шипел я ей на ухо в нашем наскоро сооруженном в палисаднике колючем малиновом скрадке. – Ну не похож он на Иванушку-дурачка. У него же на лице написано, что он что-то знает... Зачем он ходит в лес, а? Ах, ну да, скажешь ты – за топорщиками. Но он же почти всегда приходит пустой! А что он делает дома по ночам? Ведь не спит же, я уверен – не спит! Короче, нужно во всем основательно разобраться...

И Тонька согласилась. Мы таскались, как Холмс с Ватсоном, по всему селу за мерно шагающим молчаливым соседом, ждали за конторой, когда откроется дверь магазина, и из неё появится и вновь отправится восвояси сутулая фигура с топором, сжимающая вдоль по топорщику между заскорузлым большим пальцем правой руки и острым топорным жалом шесть буханок серого ржаного евгацинского хлеба.

Евгацино, в отличие от Колбышево, было большим поселком, в котором находилось правление совхоза, белокаменный ДК со старинными растрескавшимися деревянными колоннами

и собственным вокально-инструментальным ансамблем "Подсолнухи", а также больница, хлебопекарня, молокозавод и прочие учреждения, которыми и отличается, наверное, поселок от деревни. До Евгацино было всего пять километров, и туда спозаранку отправлялся от конторы колбышевский синий ПАЗик, развозя местных доярок на работу на тамошних фермах. Евгацино – это планета, на которой есть жизнь, а Колбышево – его маленький луноподобный спутник в рамках воображаемого звёздно-поселкового кадастра...

В Колбышево тоже был собственный клуб-кинотеатр, в котором бесценно крутили то "Вратаря", то "Первую перчатку". В зале столбом стоял махорочный дым, если рвалась плёнка – звучали крики "кино не будет – кинщик спился", по углам, пользуясь темнотой, тихо целовались старшеклассники с приезжими студентками-омичками, а после фильма, вдохновлённые примером железнорукого героя Киндинова, местные скучающие парни раздавали друг другу хуки и апперкоты.

Иногда по счастливой случайности "спившемуся кинщику" удавалось достать копию "Бродяги" или "Рама и Шиама", и тогда всё село набивалось в тесный клуб, как голяны в мордушку. После сеанса толпа медленно разбредалась, и когда затихал в дальних концах улицы счастливый бабий рёв, у каждого плетня белело по парочке...

Но Кобзон и Ольга Воронец до Колбышево, увы, не доезжали.

Когда в субботу с утра мать стала накручивать бигуди, а отец – тщательно намазывать щетину доисторическим помазком, мы с Тонькой переглянулись и поняли друг друга без слов. Вот оно – наконец-то удастся осуществить самую интересную часть нашего пинкертоновского плана.

Я не без труда внушил матери, что от Ольги Воронец у меня изжога, как от варенца, а Тонька заявила, что в ПАЗике её тошнит, и вообще – скоро осень, ей нужно готовиться к занятиям. Отец не то чтобы очень настаивал на нашем присутствии, поэтому всё решилось как надо.

Пять шагов назад – бросок... Мой складник с пластмассовой белкой на щёчках рассекает воздух и, сыто чмокая, впивается в сырую берёзовую чурку. Гойко Митич может промахнуться, но Чингачгук – никогда...

И опять – шаг назад, ещё один... мой зоркий взгляд фиксирует желанное безлюдье с одной стороны улицы, бросок – со стороны центра пылит Витькин грузовик... но он не

сюда – свернул. Наш объект с утра ушёл в лес, опыт недельной слежки даёт основания предполагать, что раньше полудня он не вернётся, а потому...

Тонька повернула тяжёлое стальное кольцо щеколды, потом резко, чтобы – как я учил – избежать скрипа, толкнула перед собой створку ворот и...

Любой профессионал попадаетея на какой-нибудь досадной мелочи. Казалось бы, всё было учтено, но откуда нам было знать, что, кроме топора...

Я даже не успел понять, что произошло, послышался дикий вопль, хлопанье крыльев, опять вопль, и из ворот выскочила Тонька со странным убором на голове. До меня не сразу дошло, что это огромный красный петух с боевыми шпорами. Я кинулся навстречу, и петух соскочил на землю, но не убежал, а стал боком наступать на нас, от испуга прижавшихся друг к другу. Он косил красной бусиной глаза, пританцовывал и даже грёб землю когтистой лапой на манер местного племенного бугая. Мы бросились домой, и тайный страж угрюмого дома преследовал нас до самой калитки.

Тоньке пришлось делать наскоро примочку и, не дожидаясь родителей, бежать в фельдшерский пункт. Зловредная птица клюнула-таки мою отважную сестру в лоб и не куда-нибудь, а прямо в тот же шрам от шляпки гвоздя, доставшийся Тоньке в раннем детстве от падения на пол.

Пока фельдшер штопал многострадальный лоб и делал укол от столбняка, я пытался утешить всхлипывающую сестру, говоря, что теперь она будет похожа на индийскую красавицу из "Бродяги" и, вообще, нёс всякую чушь, и в конце концов фельдшер ласково предложил мне удалиться из перевязочной. Сев на крыльце, я долго старательно шнуровал свои кеды крестиком, и под ложечкой сосало от одной мысли о том, что устроит вечером мать, увидев Тоньку в наряде Щорса.

## V

Драться решили на котловане. Хотя старая разработка глины была в трёх минутах ходьбы от Колбышево, там почти никогда не появлялись взрослые. Вася-Баляся курил здесь сушёные листья сиреневого вьюна, здесь же проводились все наши с Тонькой секретные эксперименты – запуски подводной лодки, состоящей из перевернутого корыта с плотно подогнанным плексигласовым иллюминатором и с подачей кислорода через воняющий бензином

гофрированный шланг (предпринимались попытки использовать прозрачный пластиковый – от автодойки, но новый достать было трудно, а старые так разили прокисшим обратом – уж лучше бензин...). Здесь мы с Серёжкой Абрамовым испытывали огнетушитель-бомбу, планируя глушануть легендарного осетра с далеких Пузановских ям. Но об этом эпизоде лучше не вспоминать...

Здесь, на котловане, по тайному стовору сегодня с утра встретились Тонька и долговязый эстонец Юган, который, хоть и был похож на швабру, но отменно играл на аккордеоне и пел своим надтреснутым иностранным голосом "пи-исьма, письма лично на почту ношу"...

Здесь же, как нарочно, оказался Вася-Баляся... Оказался в тот самый момент, когда нескладный внук тётё-Кати – живописной морщинистой старухи, похожей на Кальтенбруннера, курящей прямую трубку и матерящейся, как киномеханик... увы, в тот позорный для деревенского мальчишки момент, когда он, путая слова, предлагал даме тайную переписку и свою защиту от хамов.

Хам Вася-Баляся, дослушав исповедь Югана, вывалился из кустов и пообещал тут же разнести весть о моральном падении ненавистного музыканта по всему Колбышево. Да что там – он и в Евгацино всем пацанам сообщит...

К счастью, дальнейшие разговоры велись в отсутствие Тоньки, ибо, судя по тому, что поведал мне с нервно сжимаемыми костлявыми кулаками эстонец, зовя меня в секунданты – убежала она как раз вовремя.

Вася-Баляся – неприятный человек, попытка решить дело с помощью взятки (пачка "примы") не увенчалась успехом. Угроза в отместку сообщить всем, как он дрович на том берегу котлована в кабине от "полёта-первого" и был захвачен врасплох своим отцом в то время, как Юган и его собутыльники из восьмого "бэ" тихо распивали в кустах и всё видели, только обострила переговоры.

– Тебе всё равно никто не поверит, потому что ты нерусь и скотина... и я тебе морду разобью, – таков был ответ Васи-Баляси. – Прямо тут вот, на этом самом месте тебе юшку пуцую...

– Может, тогда сейчас будем драться, раз уж по-другому нельзя?.. – воспроизвёл для меня Юган своим плоским осиновым голосом, неподражаемо акцентируя на каждом "о".

– Нет, в три часа, у меня работа. Это ты только на своей голяшке кнопки нажимаешь,

а мне к покосу надо приготовить... Схлыздишь, не придёшь – бабой будешь!

...К месту дуэли незаметно для взрослых собралась целая толпа мальчишек – все, кто прознал-разведал о намечающемся зрелище. Из приглашённых дам были только Тонька – косвенная виновница рыцарского турнира, да ещё несколько соседских девчонок, от которых не спрячешься.

Кроме чисто зрительского удовольствия, гарантируемого любой дракой, собравшихся волновало другое – крошущаяся здесь интрига... Ну и, конечно, вопрос о местных авторитетах. Ведь если Юган набьёт морду Васе-Балясе, то какой же Вася местный главарь...

Быть секундантом неприятно, но почётно. Я, с честью выполнив свои обязанности, договорился с представителем Баляси, что драка будет до первой крови либо до первого "сдаюсь". Вмешавшийся будет наказан. Стороны мрачно одобрили условия и стали готовиться к испытанию.

Тонька бледнела, грызла свои несуществующие ногти и всё время озиралась – наверное, надеялась на появление участкового или Хатиса. Но место нами было выбрано надёжное.

Вася-Баляся бросил на землю рубашку и остался обнажённым по пояс. Ход явно тактический – бицепсы и трицепсы у него были врождённые. Юган тоже снял чёрную майку с трафаретным Ленноном и аккуратно повесил на ветку берёзы. Взглядам многочисленных зрителей открылась его впалая грудь и спина с бледно-розовыми кружками от банок.

И вот – первый удар. Конечно же, его сделал Баляся. Хлёсткий такой удар, скользом по плечу. И вдруг произошло что-то странное. Этот Юган, этот болотный сухостой начал очень резко передвигаться вокруг растерявшегося противника – Вася-Баляся несколько раз ударил воздух, потом опять промазал и потерял равновесие – поскользнулся на сочной гусиной траве... Через секунду драка превратилась в борьбу – противники сопели, перекатываясь со спины на спину... И эта молчаливая потная возня была для меня почему-то более неприятна, чем драка на кулаках.

Краем глаза я заметил, что Тонька куда-то исчезла – даже не заметил когда... Югану едва не пришлось туго – его длинные руки хороши для боя на дистанции, но вот даваться в захват такому быку, как Баляся, не стоило. Выручило эстонца, пожалуй, то, что Вася очень сильно расстроился из-за своих позорных ударов по ветру и оттого делал много лишних, неосторожных движений. К

тому же зафиксировать скользкого от пота противника в захвате – само по себе дело тяжёлое.

А Юган как-то ловко извернулся, позволил Васе повалить себя на спину и вдруг ловко захлестнул его своими ногами-ходулями за горло, ноги поймал в замок подмышки и стал Балясю давить. Все сразу поняли – сухостой победил.

– Ну что-о, сдаваться будешь или сдохнешь непобеждённым... – сколько я ни пытался говорить вот так же – без выражения, скучающе, на одной ноте – ничего не получалось, хотя со слухом у меня всё в порядке...

В тот самый момент, когда все придвинулись поближе, чтобы услышать сдавленное "харэ", которому суждено будет надолго войти в деревенские устные летописи, меня толкнули плотно стоявшие слева и справа, и я упал.

– Тика-а-ай! – закричал кто-то как резаный.

В центре вытоптанного в траве круга над сцепившимися дуэлянтами стоял человек в чёрной рубашке. С топором в правой руке.

–Э!

Это был первый услышанный мною за несколько месяцев соседства и пристальной слежки звук, исходящий из чёрной сутулой фигуры. Даже в магазине – я сам два раза видел – Ваня молча высыпал из ладони мелочь на весы, потом брал шесть буханок хлеба (это его паёк на неделю), складывал их на топор и так же молча уходил. И в магазине все всегда молчали, словно заразившись от него. А тут – "э"... Мне стало почему-то страшно, что он сейчас заговорит. К шагающему роботоподобному Ване-дурачку я уже привык, а если он заговорит...

– Э! – с большим напором повторила чёрная рубашка, потом тихонько тенькнул топор, и... от накрывавшей место боя ивовой кроны к ногам сумасшедшего упала ветка. Тень-тень – прямо на весу причёсанная топором ветка превратилась в прямой ивовый прут. И этот прут со свистом описал дугу над серыми уже от страха, но продолжающими сжимать друг друга Юганом и Балясей...

– Э-э-э... – рука с прутком медленно поднималась над дерущимися, и тут они, наконец, как ошпаренные, отскочили на края полянки, готовые, в случае чего, бежать гораздо дальше.

– Э-э... – удручённо покачивая низко сидящей головой, Ваня повесил топор на

плечо и, не оглядываясь, мерно зашагал по краю котлована к лесу.

– Вот с...! – задыхающийся голос Баляси с какими-то не то всхлипываниями, не то подхихитываниями разнёсся над поляной, оживляя омертвевших зрителей за каждым кустом. – Я ж этого эстонца прибил бы, если бы придурок с топором не помешал...

– Чем бы ты его прибил бы... Если бы не придурок, тебя бы сейчас откачивали, как жмура из реки... Тьфу... – голос принадлежал неизвестно откуда взявшемуся Витьке-шофёру. Вид у него был как после стометровки.

– Ну Ваня... чуть меня телёнком не сделал. Ах, растуды-т-твою драчунов мать... – опять сплюнул Витька лезущий из него после бега никотин. – А ты, эстонец, того... молоток! Где занимался, в секции какой, поди? Нас вот тому же в погранцах учили...

– Не-ет, я сам, по книжкам...

Вася-Баляся, не подавая виду, что слышал адресованные ему позорные слова, продолжал твердить то тише, то почти с пеною у рта спасительную бесполезную ложь, потом вскочил и побежал за сумасшедшим.

– Куда, дурак, не дразни его! .. – заорал Витька-шофёр.

– Я ему, с..., сейчас покажу...

Все, не сговариваясь, бросились вслед. Спасать побеждённого Балясю. Но было уже поздно.

Кусок сухой глины с глухим стуком ударил в чёрную рубашку. Неприятное гулкое "ум-м-м" – с каким-то ёканьем. Такой звук обычно издавала на мелкой рыси мокрая пастушья лошадь, когда её грузный седок с помощью матов и бича разгонял по дворам особо строптивых ненагулявшихся нетелей.

Второй камень ударил в плечо повернувшегося дурачка и, разбившись, обдал его облаком коричневой глиняной пыли.

– Ну, чё ты не экаешь, сука! – заорал Баляся с надрывом, то ли подбадривая себя, то ли чтоб все слышали... – Ты ж тока что экал, а?.. Щас я те мозги поправлю, урод!

В жилистых руках бывшего колбышевского главаря оказался берёзовый дрын – довольно крепкий, судя по розоватым берестяным ранам. Отступить Балясе было некуда. И он стал наступать, взяв дрын наизготовку, как битую при игре в лапту.

Бывший лётчик, придурок, урод болезненно пошевелил плечами, поднял упавший у ног топор и мерно побрёл в лес. Не оглядываясь.

Возможность частичной реабилитации неумолимо уходила от Баляси мерными механическими шагами – так уходит время, подвластное качанию маятника.

И тогда Баляся, бросив дрын, выдрался из многочисленных пытающихся удержать его рук и, забежав впереди Ивана, каким-то визгливым бабьим голосом запричитал, тыча пальцем в небо...

– Самолёт летит! Смотрите, смотрите – самолёт...

## VI

Господи, прости меня грешного, прости за то, что не умер тогда от стыда и боли. За то, что клянусь занятость, ворчу под нос о семейных проблемах... За то, что сегодня, будучи в возрасте несчастного раздавленного горем бывшего лётчика, бывшего отца, мужа, сына, вспоминая, складывая по крохам на бумаге то страшное лето, нет-нет да и сгорю дотла от стыда, что растягивает мне рот неудержимая, неосмысленная улыбка. Она искажает моё серьёзное писательское лицо независимо от моей воли. То явственно встанет перед глазами эстонец Юган с белыми волосами до плеч, с трафаретным водоэмульсионным Ленноном на футболке... То Витька-шофёр, сворачивающий из "Иртышской правды" плотную махорочную пирамидку – "хочешь зобнуть?.." То Тонька – бедная моя многострадальная сестра, увлёкшись очередным своим по ходу придумываемым рассказом, привычно ищет, чего бы ещё обглодать на своих круглых бобышках – кончиках пальцев... И я улыбаюсь. Улыбаюсь больно и светло.

Улыбаюсь, словно не было той страшной паники, того нечеловеческого воя, словно не видел я, как ползёт на коленях в бурьян, закрывая лицо топором, странный человек в коричневой от сутлинка рубахе, оставляя на серых перьях полыни брызги тёмной крови с изрезанных пальцев, так и не отпустивших топорное лезвие... Словно не настигал меня тысячу раз в разных концах планеты, уродуя рты совершенно разных людей, тот довольный Балясин смех...

Улыбаюсь... Господи, прости мне эту улыбку.

## VII

День умирал. Солнечный диск, оранжевый с багровыми отливами, плющился о призрачную изломанную линию далёкого урмана. Скоро, скоро по селу прокатится с рёвом и топотом вечернее стадо и, не дождавшись полной темноты, не успев



расцветить как следует окна деревни, начнут один за другим гаснуть экономичные сороковаттные лампочки...

Я любил сумерки, поздним вечером деревня напоминала железнодорожный состав – вон обдаёт окрестности клубами освещённого дыма и пара локомотив – кузница машинно-тракторной мастерской в конце улицы – наверное, спешно ремонтируют сенокосилки... Вот выделяется ярким светом в центре состава вагон-ресторан, притворившийся деревенским домом культуры, а в хвостовой части поезда, сразу за нашим плацкартным – беззвучно мотается чёрный безглазый товарный вагон, в котором едет вместе с нами неизвестно куда странной одинокий пассажир.

Мне хотелось уехать. Я любил запах дёгтя, гудрона и ливерных пирожков из вокзального буфета. Я любил стук колёс и непривязанность, необязанность быть в каком-то определённом месте. Я мечтал о своём доме, но в образе его всегда было что-то от поезда. Так сложилось...

Но сейчас больше, чем уехать, мне хотелось найти Тоньку и рассказать ей... Но дома никого не было. Отец ушёл в ночную смену, мать, судя по всему, как всегда, задержалась у тётки-Кати Реет, которая почему-то терпеливо впитывала её исповеди о горемычных скитаниях нашей семьи. В общем, всё как всегда.

Только Тоньки не было нигде.

Я сходил на зады – огород был пуст. В центре тоже можно не искать – вон, маются дурью возле Тонькиных любимых "гигантских шагов" какие-то пьяные мужики... На котлован она пойти не могла – да я сам только что оттуда, после сегодняшних событий не смог отказаться от предложенной примины, а потом было ещё много разговоров о Ване... Стоп! Стоп. Вот оно!.. Вот что за червь глодал меня всё это время. Каким-то шестым чувством, не умея объяснить себе почему, я знал, что найду Тоньку где-нибудь рядом с домом сумасшедшего... И я нашёл её.

Когда все мыслимые и немыслимые наружные углы старого пятистенка были обшарены мною, и ни в одном из наших увядших конопляных скрадков не обнаружилось следов недавнего пребывания сестры, когда, подойдя к дому со стороны улицы, я обнаружил, что ворота приоткрыты, оставалось одно – скрепя сердце, шагнуть в густеющую темноту Ваниного крытого двора.

Я не боялся клювастого сторожа – убежавший в лес хозяин вряд ли сегодня появится, а петуха Ваня перед уходом в лес

всегда надёжно запирает в сарае, почти всегда...

Я осторожно заглянул во двор и... сразу увидел Тоньку. Она сидела на корточках у разобранной почти до опорных жердей поленницы, притулившейся к тесовой стенке двора, и гладила по спине огромного петуха, вцепившегося страшными когтями в осиновое полено, петух зашторил свои страшные бусины и медленно присаживался, таял, стекал под её ласковой рукой.

– Я всё знаю, – сказала Тонька. – Мне Ваня всё рассказал... А петуха зовут Князь.

## VIII

Старая отцовская жёлтая майка, связанная узлом с одного конца, оказалась великолепным маленьким неводом. Мы держали её за лямки – каждый оттягивал в свою сторону и другой рукой прижимал нижний край к илистому дну. Три захода по мелководью – полная банка мальков. Резвую серебристую рыбёшку цепляешь за верхний плавник и осторожно, чтобы не сорвалась, отправляешь к центру заводи. Чуть повело, наклонило самодельный поплавок из гусяного пера, качнуло слегка в другую сторону, а потом внатяг, тяжело, уверенно – вглубь, подсечка, рывок – и вот уже трепещет в прибрежной траве синий полосатый красавец – окунь-горбач в ладонь величиной. Он жадно распахивает огромный зубатый рот, топорщит колючки и красные перья – ну вылитый Ванин петух...

Вода в тени у старой талины, нависшей над заводью, то и дело морщится мелкими волнами – это негодуют на ивовом кукане наши трофеи – уже одиннадцать штук. Окуневый жор на старице – этого не расскажешь...

Наши головы в панاماх из районной газеты "Иртышская правда" раскалены от зноя. Окунувшись у самого берега, Тонька подчёркнуто аккуратно расправляет лямки своего первого раздельного купальника... К трём часам клёв прекращается – как отрезало. Теперь окунь, наевшись, будет дремать до вечерней зари. Стихнет лёгкий ветерок, разгладится рябь, и тогда тут и там начнут взрывать, морщить зеркало круги – вечерняя охота хищников открыта... Мы сматываем удочки, собираем нехитрый рыбацкий скарб и плетёмся в сторону села, погружая босые ноги в глубокий слой горячей дорожной пыли.

Но что это, почему вдруг потемнело... Я задираю голову и не верю своим глазам. Всего минуту назад не было ни единого

облачка, а теперь – фиолетовая туча закрыла полнеба.

– Валерка, смотри, смотри! – я оглядываюсь и не вижу уже ни реки, ни леса, ни Евгашинского ретранслятора – серая стена пыли движется на нас.

Бегом, бегом, скорее – успеть к старой пилораме... Окуни хлещут меня колючками по щиколоткам. Быстрее, Тонька, осталось совсем немного... Но буря догоняет нас, пыль ударяет в спины, какие-то щепки, песок, колючки больно бьют по ушам. Впереди уже летят две газетные панамы и порывы ветра раздирают их в клочья. Когда мы, визжа от ужаса и восторга, вваливаемся в тёмный проём полуразвалившегося сруба и с хлопаньем щиплем свои веки, выгоняя со слезами набившуюся пыль, вдруг наступает тишина. Несколько мгновений полной тишины. И потом начинает бить барабан – сначала вразной, потом всё учащающейся дробью, как в цирке перед тройным сальто без страховки. Меня больно ударяет в затылок, и мы бросаемся к дальней стене сруба – туда, где крыша ещё не совсем сгнила.

Вот это град! У ног на глазах вырастает куча стеклянных яиц с белыми матовыми шариками внутри, в самом центре. Такой град я вижу впервые. Что-то гудит, воеет за бревенчатой стеной, стучит, хлопает, визжит выдираемым гвоздём кровли, затем гул уходит в сторону села, нас ослепляет страшная вспышка, и слышится первый раскат грома – удар стального бича прямо над головой.

Так и сидели мы целую вечность во мраке, терзаемом магниевыми сполохами, прижавшись друг к другу и уже дрожа от дыхания ледяного хребта у наших ног. Тонька бормотала про какую-то девочку, которую убило молнией в прошлом году, а я мечтал о горячем краснодарском чае и подгоревших оладьях со сметаной, которыми мы пренебрегли, торопясь не упустить клёв.

...Потом мы хлопали по раскисшему колбышевскому суглинку к взвозу, туда, где лежал на боку трактор "Беларусь", так и не сумевший осилить скользкий подъём. Село было неузнаваемым, повсюду валялись трупы вырванных с корнем деревьев, посреди улицы лежала пирамидой Хеопса крыша, сорванная бурей. В другом конце села, куда мы держали путь по рытвинам и оврагам, заменившим собой накатанную грунтовку, что-то горело – там время от времени надсадно верещала сирена пожарной машины, толпились люди и раскачивался, буксуя в канаве, газик

"урядника" – так называл участкового милиционера отец.

## IX

Анкерный столб напротив нашего жилища упал, провода порвались, и от замыкания загорелся богатый соседский дом – сейчас он напоминал развалины Берлина из кинохроники. Над чёрным скелетом жилища Васи-Баляси подымались облака дыма и пара, ужасно пахло мокрой сажей, палёной шерстью и ещё чем-то тошнотворным.

Дом сгорел изнутри, потому и ливень не спас. Искры от проводов непонятно как проникли в сарай, где стояла бочка с соляркой и несколько канистр с бензином для мотоцикла. Когда вспыхнул толь крытого двора, Васин отец успел только отцепить с проволоки волкодава, выгнать под дождь домашних, в том числе свою девяностолетнюю мать, и сгрести в узел кухонной клеёнки документы, фотографии со стен и старую икону, без которой старуха не соглашалась "ни в жисть" покинуть дом. Потом в сарае грохнула канистра, и ни мотоцикл, ни овец спасти уже не удалось...

– А-а-а... – стонал отец Баляси, стуча себя кулаком в лоб. – За что-о-о... всего лишился, что нажили честным трудом.

– Где твой Бог всевидящий, как он позволил такое горе честным людям... – тыкал он трясущимся пальцем в сторону испуганной бабки, которая и говорить-то не могла, только шевелила ввалившимися губами да прижимала икону к груди, кутая её в синюю линялую кофту.

Народ окружал место происшествия плотной стеной, топтались в грязи мужики, бабы шептались и всплёскивали руками, шмыгали радостные мальчишки, безразличные к окрикам родителей и вездесущего Хатиса. Кто-то уже толкал надсадно ревуший милицейский газик, с досадой матерился, получив из-под колеса струю грязи в лицо... Но никто пока не уходил восвояси – сегодня в Колбышево событие похлеще "Рама и Шиама".

Мы уже получили своё за причинённую родителям нервотрёпку, успели переодеться в сухое и, несмотря на запреты матери – "у людей горе, а вы глазеете" – всё же высунулись в окно. Ну... невозможно удержаться, когда у твоего дома собралось полсела...

Васин отец вдруг перестал стонать, как-то сгорбился и сквозь второпях расступающуюся толпу устремился к дому хранителя топора. Я высунулся аж по пояс и

увидел, что как всегда угрюмый, но уже не страшный нам с Тонькой тихопомешанный стоит, прислонившись к своим воротам, впервые за всё это время без своего стального спутника. Стоит без движения, смотрит, и по лицу у него стекают струйки крови – наверное, град в лесу застал.

Не дойдя до него шагов пять, Балясин отец остановился, широко расставив ноги в растоптанной грязи, и вдруг дико, с хрипом и слюною изо рта закричал:

– Ты чего, сука, смотришь, а?! Ты людского горя не выдал? Радуетесь, гад, небось!.. Да я тебя сейчас, прощальна... А-а-а! Ненавижу!.. – он вдруг кинулся к берёзовой чурке, с рёвом рывком поднял её на вытянутых руках и швырнул прямо в Ивана.

Я чуть не выпал из окна – Тонька схватила за рубаху... Иванушка-дурачок чурку поймал – легко, как ловят мяч. Его лишь шатнуло назад, поймал, повернулся и унёс этот единственный "круглый стол", связывающий его с народом, в тёмный зев двора. Так накануне войны эвакуируют посольства...

Толпа восхищённо и в то же время испуганно загудела, оценив нездоровую, нечеловеческую силу. Драчливый же Балясин отец на этом не успокоился и кинулся следом. И в тот же миг раздался уже знакомый нам с Тонькой шум, потом дикий рёв – но уже не ненависти, а ужаса и муки, и... Из ворот прямо по грязи выкатился погорелец с перекошенным от крика ртом, зажимая ладонями лицо. Сквозь пальцы левой его руки струилось что-то тёмное.

Мать с отцом уже тоже торчали в соседнем окне, мешая нам с Тонькой видеть происходящее.

– Это же Ванькин кочет ему глаз вынес нахрен!.. Начисто вынес. Убить, убить его надо, людоеда... – несколько мужиков решительно кинулись к воротам и тут же остановились, пробуксовав по инерции на раскисшем суглинке. В проёме ворот бесшумно возникла фигура в чёрной рубахе – на этот раз с топором. Стоит молча, с топора вода стекает по лезвию. Тут ведь без слов ясно, этот своего петуха в обиду не даст.

– Да это чё же такое делается, а?! Петрович, а? Это ж беспредел какой-то... Он чё, нас рубить будет, чё ли? За петуха грёбаного?!

Мужики стали хватать что попало под руку и неплотной стеной двигаться в сторону Ивана.

Но тут перед ними возник испуганный участковый и тычками погнался назад.

– Вы чего, бойню мне хотите устроить, дураки? Мне вас палкой разгонять?.. Мало этого вам... всего.

– Петрович, он же человека глаза лишил! Прямо на людях – все свидетели...

– Наза-а-ад! Разберёмся, я сказал. Завтра же разберёмся. А сейчас – по домам! А то я вас всех на пятнадцать суток определю, чтоб поостыли... Хатис, мать твою так, где твоя скорая...

...Заперли двери и даже ставни. Стало темно и душно.

– Геннадий, делай что хочешь! Не найдёшь другое жильё – завтра же соберу детей и уеду... – нервно вскрикивала мать на другой половине дома.

Страшные... страшные сны выползали из печи.

## X

В понедельник с утра мы с Тонькой снова рыбачили – на этот раз с небольшого плотика, сколоченного из разбросанных вдоль берега весенним разливом неходовых деревяшек, плотик едва удерживал нас, но зато позволял добираться до заветного камышового кольца, внутри которого, невидимые с берега, мы удили карасей, приманивая их к нашим крючкам палёным жмыхом и купленными матерью по моей настоятельной просьбе анисовыми каплями. Мы выдёргивали сочные белые пучки рогоза и хрустели ими. Голод гнал нас домой, но клёв не затихал. Какой же рыбак скажет – хватит...

Когда же одни гольяны стали объедать нашу наживку и нагло виснуть на крючки – сразу по два – мы стали собираться. Сначала сложили улов в зелёную капроновую сетку с мелкой ячейкой. Караси были как на подбор – в пять пальцев, сытенькие, крепкие, бронзовые. А ещё мы выудили редкого здесь гостя – леща размером со сковородку, по-видимому, он не успел покинуть травяное изобилье старицы с отступающей весенней водой и вынужден был привыкать к озёрной жизни... Наш ветхий плотик едва не перевернулся, когда мы с сестрой переместились на одну его сторону, стараясь поддеть самодельным сачком неожиданно крупную добычу. Лещ, в отличие от карасей, отдавал серебром, искрился на солнце ослепительным широким боком. Его мы надели на кулан из алюминиевой проволоки, и когда Тонька с гордостью несла его, то и дело перекладывая из руки в руку, чтобы не резало пальцы, хвост леща доставал до земли.

Миновав крутой подъём взвоза, мы повернули на финишную прямую в улицу, и тут же растерянно остановились – там, впереди, как раз напротив нашего дома опять толпился народ. Снова стояла машина участкового, только на этот раз не в кювете, а на дороге. Вроде ничего нигде не горело, но на месте бывшего палисадника Васи-Баляси краснела огромная пожарная машина и тускло отблёскивали латунью каски еврагинских пожарников, суесящихся вокруг... Мы с Тонькой переглянулись, но не нашли что сказать друг другу. И лишь когда воздух прорезала дурная визгливо-надрывная сирена скорой помощи, Тонька вдруг молча бросила леща в дорожную пыль и помчалась вперёд.

Когда я добежал до дома, навьюченный лещом, сеткой, сумкой и удочками, сестры уже и след простыл. Матери дома тоже не оказалось. Отец с утра ушёл на кирпичный завод... Я выскочил на улицу и стал искать глазами кого-нибудь из мальчишек, чтобы узнать, что происходит.

Увидев торчащую над толпой жёлтую гриву Югана, я пробрался к нему.

– Привет! Чего тут опять...

– Хатис Ивана в дурдом решил спровадить... Мужикам сказал, чтоб пришли, подстраховали – вдруг чего...

– Да ты что!..

– Ага... Вон, гляди, санитары приехали из района – во жлобы какие...

Две "скорые" – старенький ЛиАЗ и новый – муха не сидела – ЕрАЗ перегородили дорогу к центру. С другой стороны от дома толпился народ – мы с Юганом залезли на жерди ограды, чтобы было лучше видно. Замыкала образовавшийся коридор пожарная машина, у которой уже разматывали шланги рослые парни в асбестовых спецовках. Санитары, их было четверо – у каждого на плече по длинному "вафельному" полотенцу – двинулись от машин к воротам, с минуту пошушукались и ринулись во двор.

Я вцепился ногтями в старую жердь, как Ванин петух. Я ждал чего-то страшного, какой-то жуткой драки... Мне представлялось, что вот сейчас санитары с криком начнут вылетать из окон, выламывая всегда прикрытые ставни, а потом в окно высунется Иван, грозный, как Илья Муромец, и скажет "Э!", и погрозит пальцем. И все эти санитары и пожарники побросают свои полотенца и шланги и умчатся восвояси, подымая деревенскую пыль до неба. А впереди, конечно, будет бежать Хатис, позабыв про деревянную ногу, и на лице его

будет ужас, и он убежит и больше никогда не вернётся сюда...

Сейчас, вот – ну сейчас... раздастся привычный шум и хлопанье крыльев, и санитаров самих придётся везти в неотложке. Я знал, что так думать нельзя, плохо так думать, но мне о-о-очень хотелось этого. Но ничего не происходило. Эх, Тонька, зачем же ты приручила этого петуха...

Прошло то ли пять минут, то ли пять часов ожидания – и вот послышался глухой топот, дребезг какого-то чугушка, и из ворот красные, вспотевшие санитары вывели связанного полотенцами Ивана. Один нёс топор с замотанным полотенцем лезвием.

– Да... профессионалы... – протянул Юган очень по-эстонски.

На лице у тихопомешанного застыла маска ужаса, он весь побелел, и оттого щетина казалась металлической. Глаза его, всегда смотревшие скорее куда-то внутрь, чем на окружающий мир, теперь беспокойно бегали, шарили по лицам собравшихся людей, не останавливаясь ни на одном из них. Так озираются в тёмном колодце...

У одного из санитаров раздулась и посинела губа.

– Бодался, гад... – буркнул санитар толпе, хотя никто не спрашивал, а потом несильно пнул связанного в зад коленкой. – Счас приедем, я тебя успокою...

Кто-то одобрительно заржал. Но толпа не поддержала хохота, люди как-то присмирели, топтались и озирались по сторонам.

– Так, пошла я парник поправлю... – громко сказала толстая баба в цветастой юбке справа от меня, раздвинула мощным торсом, как бульдозер, толпу и зашагала, не оборачиваясь, по улице, на ходу размотала косынку и оставила её на плечах, потом резко остановилась, вернулась к милиционерскому газику, где всё это время тихо сидел Хатис, плюнула на лобовое стекло и ушла – теперь уже совсем.

Хатис не проронил ни звука. Какое-то странное оцепенение охватило людей. Я вдруг поймал себя на том, что мне неловко встретиться взглядом с Юганом...

А санитары делали свое дело. Они подвели больного к машине и стали уже было заталкивать его внутрь, но тут водитель выскочил из ЕрАЗа и стал на них кричать.

– Вы чё, сдурели, да он же у вас усрался! Чтобы я это говно нюхал до самого района?! Не поеду...

Люди в белых халатах задумались, один из них – видимо, главный, подошёл к собирающим шланги пожарным, потолковал с ними, и уже через миг санитары согнали

нас с Юганом с плетня и крепко привязали к жердям Ивана – спиной к народу, потом с него содрали сапоги, штаны и стали отмывать мощной струей из брандспойта...

Бабы морщились, закрывали лицо руками, мужики нервно всхohатывали, но никто не уходил. Всё это время сумасшедший мычал от ужаса. Да – сумасшедший. Не хранитель топора, не странный человек в чёрной рубахе, не бывший лётчик, не просто Иван. У него уже не было имени. Ужас и беспомощность превратили его в полуголого мышонка в руках злых мальчишек. Только бегающие глаза, только стон ужаса – нет человека.

И тут раздался стук и звон разбитого стекла, пожарный выключил брандспойт, и все стали озираться, не понимая, что произошло. И в этот миг я увидел Тоньку – зарёванную, грязную – она стояла на плоской крыше Ваниного двора, и в руке у неё был уже следующий кусок расколотого кирпича.

– Во, б....! – пожарник тыкал мокрым пальцем то в Тоньку, то в разбитое боковое стекло красного "Урала". – Ещё одна больная, что ли? Давай сюда, за компанию... Счас я тебя... Он побежал к воротам, на ходу снимая асбестовую куртку. Я кинулся вслед, краем глаза отметив, что Юган схватил сломанную штакетину и тоже бежит – бежит защищать Тоньку. И тут раздался петушиный крик.

Странно – не время кричать петуху. Особенно этому – молчаливому страшному стражу теперь уже пустынного дома. А он встал на ворота, расправил широкую красную грудь и орёт своё кукареку. И крыльями хлопает.

Тут пожарник про Тоньку забыл. Мы тоже остановились, но штакетник Юган не бросил. Так вот стояли все и смотрели, и слушали странную надрывную песню.

И под эту песню пропылили мимо нас два микроавтобуса, увозя отсюда навсегда Колбышевскую живую легенду. Но мало кто посмотрел машинам вслед. Всех теперь интересовал петух.

– Он бате моему глаз вырвал... – Вася-Баляся готовился к охоте. Мужики засуетились.

– Эй, Ильинишна, иди готовься, щас кондер будем варить с петуха...

– Колька, сходи за кривдой, мы его ей и накроём.

И вот уже несут трёхметровые ножницы кривды с капроновой длинной мотнёй. Вот уже Вася-Баляся лезет на ворота, надев сварочные очки и зимнюю шапку, и мужики подставляют ему плечи для упора. А мы с эстонцем стоим, как дураки, и делать нам нечего. Ничего нам не поделать.

А тут ещё мать появилась не вовремя. Завопила, запричитала истошно.

– Тоня, Тонечка! Беги оттуда, он тебя заключет... Ой, спасите её!

А Тонька, размазывая свои скорые девичьи слёзы по щекам, подошла тихо по самой балке ворот к петуху, присела, ревя, погладила его по спине, а потом подняла и кинула его в воздух. И он полетел.

Курица не птица... Не умеют летать петухи – это такая же правда, как "лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко..." Не затем им дала крылья природа. Их крылья должны шумно хлопать, привлекая внимание пернатых куриных дам к обладателю несравненных красных перьев и гусарских шкодливых шпор. Но ни один деревенский петух никогда не улетит от хозяйского топора. Будет молча носиться его немое обезглавленное тело по всей ограде, по тыну, натываясь на горшки и поленья, размазывая по ним свою горячую боевую кровь... Но не удержит при жизни петух свое набитое щедрым кормом жирное тело в воздухе больше минуты. Да какой там минуты...

Сейчас я докурю, завершу свое неуютное повествование и поставлю точку. И станет всё ясно читателю. Нам всем всегда всё ясно. Мы многое видели в этой жизни и хорошо знаем основные физические законы. Курица – не птица, прапорщик – не офицер. Мёртвые не потеют...

Но если я поставлю точку и правдиво завершу повесть, будет ли толк той – не "Иртышской", не "Усть-Илимской", не общенародной, а иной – неизведанной нами небесной правде от моих слов... Какую правду мы назовём своей, читатель?..

Лети, петух, лети! Вот уже ветер пришёл тебе на подмогу, наполнил тугое крыло. Вот несёт он тебя в сторону леса, над котлованом, над старым кирпичным заводом, обдающим твои красные перья прахом кремированной земли... Лети, не сдавайся, хлопай крыльями, не оглядывайся, не теряй силы! Не оглядывайся, ты же знаешь, что я повзрослел – я уже не заплачу.